

# Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Ночной колпак старого холостяка

В Копенгагене есть улица с забавным названием «Хюсхен-стрэде». Почему она так называется и что означает это название? Слывёт оно немецким, но, право, немцы тут ни при чём. Следовало бы выговаривать «Häuschen», а выговаривают Хюсхен; «Häuschenstræde» же значит: «Улица маленьких домиков». В ней и, правда, ютились домишки, вроде деревянных ярмарочных балаганчиков, разве чуть побольше, да с окошками. Но стёкол в окнах не было; их заменяли роговые пластинки или бычьи пузыри, – в то время стекло ещё было так дорого, что не всем по карману было вставлять его в окна. Давно, ведь, это было, так давно, что даже прадедушкин прадед, рассказывая о тех временах, называл их «старыми временами». Не одно столетие прошло с тех пор.

В Копенгагене вели в те времена торговлю богатые купцы из Бремена и Любека, разумеется, не сами, а через своих приказчиков. Последние-то и занимали эти деревянные лачуги в улице «Маленьких домиков»; в нижнем этаже каждого домика находилась лавочка, где шла торговля пивом и пряностями. Немецкое пиво в те времена славилось, и сколько сортов его было! И Бремер-Прусское, и Эмское, и Брауншвейгское. Из пряностей же бойко торговали шафраном, анисом, имбирем, а бойчее всего – перцем. Перец являлся главным предметом торговли, оттого и немецких приказчиков прозвали в Дании «перечными молодцами». Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине, они и не женились, доживали до старости холостяками. Некому было о них позаботиться, обшить, обмыть; самим приходилось им хлопотать по хозяйству, самим тушить огонь в очагах – тем, у кого он разводился. Многие, как сказано, доживали так до глубокой старости; у них заводились свои вкусы, свои привычки, и старые холостяки кое-как коротали

свой век. С тех пор-то и вошло в обычай величать пожилых и неженатых мужчин «перечными молодцами».<sup>[1]</sup>

Всё это нужно знать, чтобы понять рассказ.

Над холостяком все подсмеиваются, – пусть, дескать, нахлобучит свой ночной колпак, да заваливается на боковую! О холостяках даже песенку сложили:

Пили, пили дрова  
Ты, старый холостяк!  
Седая голова,  
Твой друг – ночной колпак!

Да, вот что поют о них! Смеются и над холостяком и над его колпаком – потому что мало знают и о том, и о другом. Ах, никто не пожелай себе этого ночного колпака! Почему так? А вот послушай!

В те времена в улице «Маленьких домиков» не было мостовой, и люди попадали из колдобины в колдобину, словно на изрытой проезжей дороге. А что за теснота там была! Домишки лепились один к другому, и между двумя противоположными рядами их оставался такой узенький проход, что летом с одного домика на другой перекидывали парусину; надо всей улицей образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. За прилавком мало попадалось молодых приказчиков, больше всё старики. Но не подумай, что все они носили парики или ночные колпаки, короткие кожаные панталоны до колен и куртки или кафтаны, застёгнутые на все пуговицы. Нет, так одевался прадедушкин прадед, в таком костюме он и на портрете написан. «Перечным молодцам» же не по карману было заказывать свои портреты, а стоило бы списать портрет хоть с одного из почтенных стариков в то время, как он стоял за прилавком или шёл в праздник к обедне! Наряд их состоял из широкополой, с высокой тульёй,<sup>[2]</sup> шляпы (приказчики помоложе часто украшали свои шляпы пёрышками), шерстяной рубашки, прикрытой отложным полотняным воротничком, куртки, застёгнутой наглухо, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки, – чулок они не носили. За поясом у каждого был заткнут нож, ложка и ещё

большой нож для защиты, — в те времена случалась и в этом нужда. Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы «Маленьких домиков», только вместо шляпы он носил шапку, с длинными наушниками, а под ней вязаный колпак, настоящий ночной колпак. Старик так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днём, ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. Вот с Антона-то и стоило бы списать портрет: худ он был, как щепка, вокруг рта и глаз ёжились сотни морщинок, пальцы были длинные, костлявые, над глазами нависли густые, седые брови, над левым же торчал целый пучок длинных волос, который если и не красил Антона, то служил зато характерною приметой. Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Эйзенаха, что близ Вартбурга. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться — зато много думал о ней.

Старые приказчики не часто виделись друг с другом, каждый больше держался в своём уголке. Запирались лавочки рано, и домишки сразу погружались в мрак; лишь из крошечного рогового окошечка чердачной каморки, уютившейся под самую крышей, чуть светился огонёк; старичок-обитатель каморки чаще всего сидел в это время на своей постели, с немецким молитвенником в руках и напевал вечерний псалом, или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, прибирая то одно, то другое. Не сладко-то жилось ему: чужой всем, на чужбине — что уж за житьё! Никому до него нет дела, разве станет кому поперёк дороги!

Улица в глухую, тёмную, ненастную ночь смотрела такую пустынною, мрачною; на всю улицу приходился один фонарь, да и тот висел в самом конце её, перед нарисованным на стене образом Божьей Матери. Слышался лишь плеск воды, сбегавшей по деревянной обшивке набережной, — другой конец улицы выходил на канал. Таким вечерам и конца не бывает, если не займёшься чем-нибудь. А чем заняться старому холостяку? Развёртывать и завёртывать товары, свёртывать «фунтики», чистить весы не приходится, ведь, каждый день; надо, значит, заняться чем-нибудь другим. Старый Антон и находил себе занятия — сам чинил своё платье, сам ставил заплатки на сапоги. Улёгшись же,

наконец, в постель в своём неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед затем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, хорошо ли погашена свечка, ощупывал её на столике и прижимал фитиль двумя пальцами, потом ложился опять, повёртывался на другой бок и опять надвигал колпак на брови. Но часто в эту самую минуту ему приходило на мысль: а прогорели ли все уголья в грелке, оставленной внизу в лавочке, потухла ли зола? Довольно, ведь, одной искорки, и не миновать беды! И вот, он вставал с постели, осторожно слезал с крутой лесенки – лестницей её и назвать было нельзя – и, добравшись до грелки, убеждался, что в ней не тлелось ни уголька. Теперь можно было вернуться обратно в свою каморку, но часто ещё на полдороге его брало сомнение: заперты ли на крюк двери и ставни? – и он снова ковылял на своих тонких ногах вниз. Дрожь прохватывала его, зубы так и стучали, когда он опять добирался до постели; известно, ведь, что дрожь тогда-то и принимается хорошенько трепать человека, когда видит, что тот спасся от неё в тёплую постель. Антон повыше натягивал на себя пуховик,<sup>[3]</sup> нахлобучивал колпак на глаза, и мысли его, наконец, отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему! На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого и развешивали перед ним на стене свои узорчатые ковры. Но в них часто попадаются острые булавки, – уколют так, что невольно закричишь от боли, а если воткнутся тебе в живое тело поглубже – даже слёзы прошибут! Падая на пуховик или на пол, эти чистые, прозрачные, как жемчужины, слёзы звенят, словно лопаются наболевшие сердечные струны. Слёзы скоро испаряются, но вспыхивают перед тем ярким пламенем и успевают осветить картину прошлого, одну из тех, что никогда не изглаживаются из памяти. Антон отирал эти слёзы ночным колпаком – и слеза, и картина стирались, но источник их, разумеется, оставался, – источником было, ведь, сердце старика. Картины жизни являлись ему не в том порядке, в каком они следовали друг за другом в действительности; чаще всего рисовались самые печальные, мрачные, но являлись и светлые, радостные; эти-то и наводили на него самую сильную грусть, сгущая тени настоящего.

«Хороши датские буковые леса!» говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вартбурга были куда лучше! Мощнее, почтеннее датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, где вьющиеся растения обвивали каменистые скалы; слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские! Он всё ещё как будто вдыхал их аромат!.. Слеза скатилась, зазвенела и вспыхнула, ярко осветив двух играющих детей: мальчика и девочку. У мальчика были красные щёки, светлые кудри и честные, голубые глаза; он был сыном богатого торговца, звали его Антоном... Да, это он сам! У девочки же были чёрные глаза и чёрные волосы, умный и смелый взгляд; это была дочка городского головы, Молли. Дети играли яблоком; трясли его и прислушивались, как гремят в нём зёрнышки. Потом они разрезали яблоко, и каждому досталась половинка. Зёрнышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. Его надо было закопать в землю, — так придумала девочка.

— Вот увидишь потом, что из него выйдет! Ты и не ожидаешь — что! Целая яблоня, только не сейчас!

И дети принялись хлопотать с зёрнышком, достали цветочный горшок с землёй, мальчик проткнул в земле пальцем ямку, девочка положила туда зёрнышко, и оба старательно закопали его.

— Только смотри, не вздумай завтра вытаскивать зёрнышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки! — сказала Молли Антону. — Этого нельзя! Я вот так сделала со своими цветочками всего два раза, — я хотела поглядеть, растут ли они, тогда я ещё не понимала, что этого нельзя — и цветочки погибли!

Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-нибудь, но, кроме чёрной земли, в горшке ничего не было. Наконец, настала весна, солнышко стало пригревать теплее, и из земли выглянули два крошечных, зелёных листочка.

— Это я с Молли! — сказал Антон. — Вот чудесно-то!

Скоро появился и третий листочек, — а это кто же? Потом ещё и ещё! День за днём, неделя за неделей, и из зёрнышка выросло целое деревцо. Всё это осветила одна слезинка; вот её стерли,

и всё исчезло. Но источник слёз был неиссякаем, — источником было, ведь, сердце старого Антона.

Близ Эйзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей; круглая вершина одной из них совершенно оголена, — ни деревца, ни кустика, ни травки; зовут её горой Венеры: по преданию здесь жила Венера, древняя языческая богиня; но немцы переименовали её в госпожу Голле, которую знает в Эйзенахе каждый ребёнок. Она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера,<sup>[4]</sup> миннезингера из Вартбурга.

Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала: — Ну-ка, постучи и крикни: Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори Тангейзеру!

Антон не посмел, а Молли посмела, но громко и ясно она сказала только: «Госпожа Голле, госпожа Голле», остальное же пробормотала так невнятно, что, по мнению Антона, ничего собственно и не сказала. Смелая была эта Молли! Такая смелая, что одна из всей толпы сверстниц целовала Антона, хотя хотелось всем — именно потому, что он не хотел и отбивался от поцелуев руками и ногами.

— Я смею его поцеловать! — говорила Молли гордо и обвивала шею Антона рукой.

Это было её торжеством, Антон же покорялся ей, вовсе не думая о том, что делает. Ах, какая она была хорошенькая, какая смелая!

Госпожа Голле, что жила в горе, тоже, говорят, была хороша собою, но её красота была соблазнительною красотой зла. Высшею красотой считалась, напротив, красота Св. Елисаветы,<sup>[5]</sup> покровительницы страны, благочестивой Тюрингенской герцогини, добрые дела которой живут в легендах и сказаниях, освящающих здешние места. В часовне висел её образ, а перед ним серебряная лампада. Но Св. Елисавета нисколько не была похожа на Молли.

А яблонька, которую посадили дети, росла да росла, так что, наконец, пришлось пересадить её в сад, под открытое небо, где её кропило росой, пригревало солнышком, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. Весной же, словно от

радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка: одно для Молли и одно для Антона, – меньше уж никак нельзя было.

Деревцо торопилось расти, Молли не отставала; она напоминала своею свежестью цветок яблони, но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. Всё проходит, всё изменяется! Отец Молли оставил родину и уехал с Молли далеко-далеко. В наше время торжества пара понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, куда они уехали. Он находился на восток от Эйзенаха, совсем в другом конце страны; это был город Веймар.

Молли плакала, и Антон плакал – все эти слёзы соединились теперь в одну, отливавшую яркими радужными красками: Молли, ведь, сказала Антону, что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре!

Прошёл год, два, три. За это время от Молли пришло два письма; одно привёз с собой торговый комиссионер, другое какой-то проезжий. Дорога была длинная, трудная, извивавшаяся мимо разных городов и местечек.

Всякий раз, как Антон с Молли слушали легенду о Тристане и Изольде, ему почему-то казалось, что говорят про него и Молли, хотя имя Тристан означало «рождённый для скорби», а это совсем не подходило к Антону. Ему, ведь, не придётся, как Тристану, вздохнуть: «она забыла меня!» Изольда, впрочем, и не забывала друга сердца, и, когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковною крышей. История эта казалась Антону такую поэтической и такую печальною... Но в его отношениях к Молли не могло быть ничего печального, и он принимался насвистывать песенку миннезингера Вальтера фон-дер-Фогельвейде:

«Ах, под липой, в степи!..»

Особенно дивно звучали следующие строфы:

«Раздаётся из леса душистого  
□Тиндарадай!

Трель певца – соловья голосистого!»

Песня эта вечно вертелась у него на языке; он напевал и насвистывал её и в ту ясную лунную ночь, когда нёсся на коне в Веймар навестить Молли; он хотел явиться неожиданным гостем – так и вышло.

Приняли его ласково; вино запенилось в бокалах; он встретил здесь весёлое, знатное общество, нашёл уютную комнатку и мягкую постель, и всё же – не того ожидал он, не о том мечтал! Он сам не понимал себя, не понимал других, но мы-то поймём, в чём было дело! Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе, и всё-таки чувствовать себя чужим; разговоры ведёшь, как в почтовой карете, знакомишься, как в почтовой карете, стесняешься, желаешь или сам уйти, или как-нибудь спровадить своего доброго соседа! Нечто подобное испытал и Антон.

– Я честная девушка! – сказала ему Молли. – И сама хочу сказать тебе всё. Многое изменилось с той поры, как мы были детьми. Перемены эти и внешние, и внутренние. Привычка и желание ничего не могут поделать с сердцем! Антон! Уезжая отсюда далеко-далеко, я не желала бы расстаться с тобою, как с недругом! Верь мне, я расположена к тебе, но любить тебя так, как, я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила! Примиришь с этим!.. Прощай Антон!

И Антон отвечал: «Прощай!» Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. И раскалённая и замёрзшая пластинки железа одинаково сдирают кожу с губ, если станешь целоваться с ними, Антон же одинаково крепко целовался и с любовью, и с ненавистью!

Не прошло и суток, как Антон был уже дома. Зато он и загнал лошадь.

– Пусть! – сказал он. – Я сам загнан и хотел бы загнать, уничтожить всё, что напоминает мне о ней – госпоже Голле, госпоже Голле, госпоже Венере, проклятой язычнице!.. Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски! Не цвести ей больше, не приносить плодов!

Но не дерево было сломлено, а сам Антон: жестокая лихорадка уложила его в постель. Что же могло поставить его на ноги? –



Подоспело лекарство, самое горчайшее из всех, которое встряхивает больное тело и изнывающую душу – удар судьбы: отец Антона разорился. Тяжёлые дни, дни испытания стучались в дверь, беда уже вломила в неё, хлынула в когда-то богатый дом волною. Отец Антона обеднел, горе и заботы надломили его здоровье, и у Антона нашлись занятия, кроме любовной хандры, да злобы на Молли. Теперь он должен был заменить в доме и хозяина, и хозяйку, распорядиться всем, привести в порядок всё. Потом пришлось покинуть родину, идти на чужую сторону зарабатывать кусок хлеба. Отправился он в Бремен, немало изведаль нужды и горя, а это либо закаляет душу, либо расслабляет её – иной раз даже чересчур. Как, однако, не соответствовали свет и люди сложившемуся у него в пору детства представлению о них! А песни миннезингеров, что они такое? – рассуждал он теперь. – Звук пустой! – Но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия, и он смягчался.

– Бог всё устраивает к лучшему! – говорил он себе. – И хорошо сделал Он, что не дал Молли привязаться ко мне сердечно. К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? Она оттолкнула меня раньше, чем могла знать или предполагать о моём разорении. Бог оказал мне милость! Всё было к лучшему! Он устраивает всё премудро! Она не была виновата ни в чём, а я-то возненавидел её!

Годы шли. Отец Антона умер; чужие люди поселились в родном доме. Антону пришлось всё-таки увидеть его ещё раз. Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Эйзенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему; по-прежнему окружали его каменные «монахи» и «монахини» и мощные дубы; всё было, как во времена его детства. Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своею серою, голою вершиной. Как охотно постучался бы в неё Антон и сказал: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори мне, укрой меня в недрах родной земли!»

Грешная это была мысль, и он осенил себя крестом; тут в кустах запела птичка, и Антону вспомнилась старая песня:

«Раздаётся из леса душистого

□Тиндарадай!

Трель певца – соловья голосистого!»

Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство; слёзы застилали его глаза. Отцовский дом стоял всё на том же месте, но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблоня, которой он так и не вырвал, очутилась вне сада, по ту сторону дороги. Но солнышко по-прежнему пригревало её, роса кропила, и ветви её гнулись, под обилием плодов, к самой земле.

– Растёт себе! – сказал Антон. – Что ей делается!

Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьею-то шальной рукой; дерево стояло, ведь, у проезжей дороги!

«Обрывают её цветы, не говоря даже спасибо, крадут плоды и ломают ветви! Да, и про дерево можно сказать то же, что говорится иногда про человека: „не пели над его колыбелью, что ему придётся когда-нибудь стоять вот так!“ Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги! Стоит оно тут одинокое, забытое, беззащитное! Все его теребят, ломают! Оно ещё не вянет от этого, но с годами цветов на нём будет всё меньше, плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец».

Вот что думал Антон под деревом; те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провёл он в своей одинокой каморке, в деревянной лачуге, на чужой стороне, в улице «Маленьких домиков», в Копенгагене, куда послал его богатый бременский купец, хозяин его, взяв с него сначала слово никогда не жениться.

– Жениться! Хэ, хэ! – рассмеялся он странным, глухим смехом.

Зима установилась в этот год рано; мороз так и трещал; на дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, держались у себя в тёплом углу. Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирается вот уже два дня, – кто бы высунул нос в такую погоду, если только можно было оставаться дома?

Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким

подслеповатым оконцем, долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. Старый Антон два дня не вставал с постели, – силы его оставили. Непогода давала себя знать ломотой во всём теле. Одиноким, беспомощным, оставленный всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. Но вот, в кружке не осталось больше ни капли. Уложила Антона в постель не лихорадка, не другая болезнь, а старость. Для Антона как бы наступила долгая-долгая ночь. Маленький паучок, которого Антон не мог видеть, весело и прилежно пряд над ним свою паутинку, словно спеша приготовить новый, свежий траурный креп к тому времени, когда старик закроет глаза.

Антон одолевала тяжёлая дремота. Слёз у него не было, боли он тоже не чувствовал, о Молли и не вспоминал. Ему казалось, что мир с его шумом и жизнью был уже не для него, – он остался как-то в стороне: никому не было до него дела. Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить... Да, правда, он ощущал и голод, и жажду. Но никто не приходил утолить их, никто и не придёт. И он вспомнил о других голодающих, и о св. Елисавете, покровительнице его родины и детства, благородной герцогине Тюрингенской, которая сама заходила в жалкие лачуги и приносила страждущим надежду и облегчение. Благодетельные дела её сияли в его памяти: он вспомнил, как она являлась к страдальцам со словами утешения, омывала их раны, приносила голодным пищу, хотя её суровый муж и гневался на неё за это. Антон вспомнил и легенду о св. Елисавете. Однажды она отправилась по обыкновению с корзинкой, наполненной съестными припасами, как вдруг ей преградил дорогу муж, следивший за каждым её шагом, и спросил, что у неё в корзине. Святая в испуге отвечала: «Розы из сада». Муж сорвал салфетку и – чудо совершилось для благодетельной женщины: вино и хлеб превратились в розы!

Св. Елисавета не выходила из головы Антона; как живая стояла она перед его усталым взором, возле его кровати, в жалкой каморке, в чужой земле. Он обнажил голову, взглянул в её кроткие глаза, и – всё вокруг него вдруг засияло, каморка наполнилась розами... Как они благоухали! К их аромату

примешивался запах цветов яблони... Антон очутился под яблоней, осенявшей его своими ветвями. Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антон с Молли.

Дерево роняло свои благоухающие листья на пылающий лоб Антона, и они освежали его, на его запекшиеся губы, и ему казалось, что он вкушает хлеб и вино, на его грудь, и ему вдруг стало так легко, так захотелось забыться сладким сном.

— Теперь я засну! — прошептал он. — Сон подкрепляет! Завтра я опять буду здоров, опять встану! Как хорошо, как хорошо! Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зёрнышка любви.

И он заснул.

На другой день — это был уже третий день, что лавка Антона не отпиралась — вьюга утихла, и соседи хватились старика. Его нашли мёртвым в постели; в руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. Но его не положили с Антоном в гроб: в запасе был ещё один, чистый, ненадёванный.

Куда же девались теперь все слёзы Антона? Куда девались эти жемчужины? Они остались в его ночном колпаке, — их, ведь, нельзя было отмыть никаким мылом, они так и остались в колпаке скрытыми и забытыми. Мысли и думы тоже остались в колпаке старого холостяка. Не пожелай его себе! Лоб твой разгорячится, пульс забьётся ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действительность. Это пришлось испытать первому же, кто надел колпак, а случилось-то это спустя целых пятьдесят лет! Надел его сам городской голова, человек женатый, отец одиннадцати детей, живший в своё удовольствие, и ему сейчас же приснились во сне несчастная любовь, банкротство и борьба из-за куска хлеба!

— Фу, как этот колпак греет! — сказал он, срывая его с себя, и из колпака выкатилась жемчужинка, потом другая; как они зазвенели и заблестели! — Это ревматизм! — решил голова. — И в ушах звенит, и из глаз искры сыплутся!

А это были слёзы, пролитые пятьдесят лет тому назад стариком Антоном из Эйзенаха.

И кому ни попадал этот колпак на голову, тому сейчас снились подобные же сны; он как будто сам переживал историю Антона.

Выходила целая сказка, да и не одна. Но пусть рассказывают их другие, а мы одну уж рассказали и кончим её словами: «никто не пожелай себе колпака старого холостяка»!

---

<sup>[1]</sup> По-датски старый холостяк – «Pebersvend», т. е. перечный молодец.

<sup>[2]</sup> Тулья – основная, верхняя часть шляпы.

<sup>[3]</sup> В Дании и до сих пор, особенно среди сельского населения, принято спать зимой под тонкими перинами, вместо одеял.

<sup>[4]</sup> Тангейзер – немецкий средневековый поэт.

<sup>[5]</sup> Елизавета Венгерская – ландграфиня Тюрингии, католическая святая.

